

И ВОТ мы уже на морском просторе...

Кто не читал про себя в эту минуту пушкинскую строфу:

Адриатические волны!
О Брента, нет, увижу вас,
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!..
Из далекого, холодного Петербурга Пушкин поэтическим оком провидел эту бесконечную голубую водную гладь и это бездонное голубое небо, он всей душой рвался сюда, и, будь он здесь, какие россыпи поэзии родила б в его душе Венеция, в светлом и гармоническом облике которой воистину есть что-то пушкинское.

Стою на корме мотоскафа, переполненный чувством, которое сам не могу объяснить, так на душе хорошо, радостно и весело. На берегу справа, точно вторя морскому простору, во всю свою ширь развернулась площадь Св. Марка с Дворцом дожей, который из золотисто-желтого мрамора и весь в кружеве аркад; с колокольной, сложенной из красного кирпича и возносящей в небо жесткое острие своей башни; с крылатым львом — гордым символом города, воздвигнутым на мраморный столб и властно подымающим упругий сильный хвост... И по другую сторону от меня, как бы уравновешивая сооружение площади, прямо поверх глади морской стоит монументальная, но поразительно легкая, летящая по волнам церковь Санта Мария делле Салуте. И вокруг нас — множество гондол, вот где им простор, в крутом изгибе поднята над водой их передняя часть, и на солнце блестит металлический нос. Странное дело, обычно «водный транспорт» — от индийской пироги до подводной лодки — имитирует форму рыбы, а в гондоле нет ничего рыбьего, она — птица. Гондольер же — сказочный витязь, он стоит у нее на спине и, легко покачиваясь и двинув одним длинным веслом, направляет полет этой морской птицы.

ВЕНЕЦИЯ, наверное, одногодок английского Тауэра, время не тронуло их обоих, но какой затхлой стариной и холодом веет от каменной английской крепости, — единственные живые существа там столетние вороны. И как молода, бессмертно молода и красива Венеция со своими истинными рыцарями, стройными, молодыми красавцами-гондольерами.

Но по новым временам венецианским гондольерам приходится худо, их «враги» — мотоскафы. У вывешенной на берег гондолы — черная доска, на ней мелом написано «Владельцы мотоскафов зарабатывают в год 8 миллионов лир и приносят 8 миллионов страданий гондольерам». А сама гондола, сияющая черным лаком, с золотым балдахном, с аккуратно положенными шелковыми и бархатными подушками, с плюшевым ковром, и над этой божественной красоты гондолой грубо сколоченный деревянный могильный крест, и, как крик души, надпись: «Продается».

Борьба гондольеров с техникой во всяком другом месте была бы объявлена безумной, к чему повторять в середине XX века драматические перипетии разрушителей машин XIX века! Но в Венеции муниципалитет должен думать, как сохранить гондольеров и обеспечить их труд. Венеция не обыкновенный город, и тут обычными законами на все можно отрегулировать. Необычность Венеции не только в ее исторически сложившемся облике. Конечно, история тут живет в каждом камне, за каждым поворотом канала, но Венеция — это не просто великий памятник архитектурного и изобразительного искусства, а нечто большее и иное.

Если сопоставлять Венецию с видами искусств, то она ближе всего к театру, то есть к искусству синтеза, куда все искусства несут свою дань. Главное все же заключено в живом человеческом чувстве. В этих заметках я позволяю себе слишком часто обращаться к собственным переживаниям, но возмне из-за «яческих» побуждений говорить о живом переживании нужно потому, что рождает его — неотъемлемое свойство Венеции. Если такое чувство не родилось, значит, свидание с Венецией не состоялось.

Это чувство очень простое, оно вовсе не удел избранных натур и тонких знатоков, а всякого человека, способного радоваться жизни, способного выйти на площадь святого Марка, увидеть 10 тысяч (или не знаю, сколько

там их) голубей и, взяв в горсти зерно, поднять руки и приманить парочку-другую воркунов прямо на ладони... Так на этой площади делают все, и все на этой площади фотографируются, и все по вечерам танцуют (под четыре оркестра), а днем смотрят друг на друга и хохочут... И, собственно, когда здесь бегут взапуски десятками детишки, то взрослые тоже не прочь побегать, если бы не одышка или правила приличия. А когда бьют часы на Torre dell'Orologgio, опять-таки все задирают головы, а некоторые даже залезают на самую башню и смотрят, как два железных гиганта колотят молотами по колоколу, выбивая часы и четверти. И обязательно все поднимается на верхний портал базилики святого Марка, будто бы перенесенной из «Тысячи и одной ночи», и оттуда любуются площадью, а снизу поднимаются левая музыка оркестров, гул и смех все возрастающей толпы; и какой-нибудь парнишка лет трех с разбегу налетает на голубиную стаю в ста голов, и сразу воздух чернеет от взмахов крыльев... Стая поднимается и тут же опускается — это птицы сделали вид, что купались, нужно же позавлечь маленького туриста. Это молодое, веселое чувство охватывает (если судить по мне) и не покидает вас все время, пока вы в этом городе, я бы сказал, в этой поэтической столице Италии, городе, где Ренессанс нашел свои самые светлые, золотистые краски, городе, в котором родилось само театральное искусство, в первый раз на подмостках комедии дель арте и вторично — на спектаклях Гольдони и Гоцци.

В САМОМ воздухе этого города есть что-то живительное, молодящее, вдохновляющее. Мы — историки искусства, говоря о веке Ренессанса, употребляем выражение «переизбыток жизненных сил» и отсюда выводим многое в искусстве Возрождения, его поэтическую озабоченность, оптимизм, бурную фантазию, нарциссическое веселье. Но пока что для меня это выражение «переизбыток жизненных сил» было лишь теоретической формулой. А теперь я знаю, что это чувство реальное, живое, бытующее, наконец, не только в этих местах, но именно здесь оно как-то особенно легко освобождается от остальных чувств и утверждает себя как главное чувство.

Этот переизбыток толкает тебя к игре, которая сама жизнь, но жизнь, полная энергии, фантазии и поэзии. Много лет тому назад наш тонкий знаток Италии П. Муратов писал: «В прошлом Италия больше жизни настоящей, вечной жизни, чем в итальянской современности». Какое глубокое заблуждение! Полагаю, что Муратов заблуждался и по отношению к своему времени, а про нынешний день и говорить не приходится. Моим чичероне по всем венецианским местам был Луиджи, он тоже здесь помолодел и повеселел, этот истинный сын итальянского народа, потому что для него Венеция — это город, где клокочет вечная, неунывающая молодая жизнь (если Венецию посещают пресыщенные всем богачи-туристы, то разве это меняет суть дела).

Главное — это жизнь народа, вот он собрался на узенькой площади святого Бартоломео, у памятника Гольдони, все друг друга знают, все оживленно и громко говорят, и сам Гольдони среди них чуть склонился, будто слушает, о чем говорят его сородичи. Луиджи знакомит меня сразу с десятком своих приятелей. Это бывшие партизаны, активисты общества «Италия — СССР», среди них корреспондент «Унита», художник и член комиссии по культуре ЦК Итальянской коммунистической партии и еще многие другие.

Все это народ рослый, энергичный, веселый, мы идем, громко разговаривая и смеясь, ясно оставившая пешеходное движение по узким — два метра — улочкам Венеции, но мои товарищи ведут меня как хозяева города, это настоящие, врожденные венецианцы... Они мне показали старый театр Гольдони, с великолепными окнами (он на ремонте), и мы усадились за столики в соседнем ресторане «Коломбо». Беседа шла о многом, но расскажу один эпизод, о том, как на полпути новой социальной силой древняя Венеция... Дело было в годы немецкой оккупации, в театре Гольдони происходило фашистское собрание. И вот венецианские партизаны, подымав в гондолах и с масками на лицах,

выбегают в театр, занимают все выходы, и четверо из них поднимаются на сцену и, направив автоматы в зал, заявляют, что здание оцеплено и что они пришли сюда сказать: в городе тысячи партизан и патриоты борются и будут бороться с оккупантами. Фашисты в немом ужасе застыли на своих местах.

Сидящие за столом хохочут. Эту операцию провели всего тринадцать человек, и во главе стоял юноша, ныне он один из активистов венецианской Коммунистической партии.

Мы вышли за храбрецов. Вот она, новая Венеция. Я уже писал, что на одном из палаццо Канал-Гранде гордо красуется серп и молот — эмблема пролетарской борьбы... Я рассказал о Венеции, не заходя в ее дворцы и галереи, там собраны прекрасные образцы искусства, но все это ушло на второй план рядом с самим городом, удивительным городом, который своей реальностью, сам по себе, без помощи поэтов и художников, воспринимается в своем поэтическом образе.

Поезд из Венеции во Флоренцию отправляется в 20.40. Мы с Луиджи крепко пожали друг другу руки, и я остался в вагоне один. Сел у окна — надо же попрощаться с улыбающимися во мне контурами венецианской лагуны... Но не прошло и получаса, как ночь своим пологом прикрыла красоты Италии. И удивительное дело, я об этом даже не пожалел. Душа еще полна Венецией. И тут в тишине и покое хочется продолжить свидание с ней. Пусть яростно кричит толстый кондуктор, ругаясь с каким-то синьором, — я будто этого не вижу и не слышу: ведь так приятно откинуть голову на спинку кресла, вытянуть ноги и отдалиться почти фантастическим воспоминаниям... Это ведь я только что был в гостях у Тито дель Монти, в ее палаццо у моста Академика. Знаменитая певица — председатель венецианского отделения общества «Италия — СССР». Мы сидим в огромной комнате с лоджией на Большой канал, и Тито дель Монти рассказывает, как она пела с Шаляпиным и в каком она восторге от артистов Большого театра... Ведь это факт, что я был в доме, в котором родился Гольдони, на канале деи Намболи, точно по адресу, как указывается в первых строках его «Мемуаров»...

Поезд идет в ночной мгле, и в памяти всплывает не только слепящее солнце, но и тени Венеции. Я долго стоял на мосту в самом «чреве» города и следил, как гондола, стесненная с двух сторон барками и нагруженными целым семейством туристов, с величайшим трудом пробивалась через узкий канал... Было как-то трудно видеть выбившегося из сил гондольера с его одиноким веслом, который с упорством кулака пытался вырвать свою тяжелую ладью из этого темного сырого ущелья. Вот они — контрасты Венеции, и может быть, нет контраста резче, чем тот, который переживаешь во Дворце Дожей. Один за другим следуют зал Сената, зал Советов десяти, зал Большого совета — у каждого помещения своя архитектура, свой живописный облик — все они величественны и пышно красивы, особенно зал Большого совета. Его стены и потолки украшены сотнями картин — истинное пиришество живописи: Тинторетто, Веронезе, Бассано... Самое яркое полотно — грандиозная «Битва при Заре» Тинторетто — в неистовстве битвы смешались люди, кони, отовсюду торчат копья, тысячами летят стрелы и будто прямо в зал падает тела, бревна и надломленные лестницы... Кажется, что вот-вот все это воинственное месиво вывалится из отведенного ему предела и, заполнив необозримый простор зала (1620 кв. метров), развернет здесь свой шумный театр военных действий. И вот, эволю насытившись искусством, вы входите в маленькое помещение с решетчатыми окнами — «Мост вздохов», тот самый, взлетающий над каналом архитектурный шедевр, который трагически соединяет два соседних

корпуса Дворца Дожей. Соединяет роскошный мир искусства с суровым и страшным миром каменных мешков... «Мост вздохов» ведет в тюрьму. Ступени спускаются в холод, мрак и затхлую сырость — мы уже в подполье; голубые воды лагуны гле-то над нами, а мы бродим по темным переходам, заглядывая через узкие щели между двумя камнями в казематы, находясь в которых, узник не мог даже разогнуться...

В Италии много тюрем, — раздается из-за спины голос Луиджи, прости-дешего шесть лет на острове Эльба.

А затем мы вышли на площадь Святого Марка с ее солнцем и голубями... Воистину слепящий контраст.

И разговор уже пошел о другом — как нелегко живется венецианцам в сырых неустроенных домах, в постоянных заботах о временных заработках... И мне стало даже неловко за свои уж слишком восторженные чувства, но друг Луиджи категорически запротестовал. Нет, только так лучезарно и надо воспринимать Венецию, ее невзгоды неотделимы от других социальных бедствий страны, и против всего этого идет борьба, а Венеция пусть так и останется для мира и людей «жемчужиной Адриатики».

Между тем поезд миновал Прато, скоро Флоренция. По замечанию Л. Толстого, путник со второй половины дороги думает о том, куда он едет. Я явно опаздывал выполнить эту психологическую директиву. На вокзале меня встретил представитель общества, мы сели в машину и поехали по ночному, слабо освещенному городу. Чуть накрапывает дождь, пока ничего примечательного — магазины, рестораны, кафе, опять кафе и совсем неожиданно по переднему стеклу автомашины, точно по экрану теле-

яне пристально смотрят на Микеланджело, чем-то похожего на своих отдаленных потомков.

Церковь Санта Кроче — своего рода Пантеон величайших сынов Флоренции и замечательное собрание художественных сокровищ: самые прекрасные из них фрески Джотто и статуя Донателло. Церковь построена чрезвычайно давно, еще в дантову времена, и названа в справочнике «своеобразным памятником итальянской готики». Но строили Санта Кроче деятели свободной Коммуны, разбившие феодальных владык и ставшие новыми хозяевами жизни. Повелев соорудить храм, они заботились не о христовой славе, а об утверждении «предприимчивости и мощи человеческой», как значится в одном из древних документов флорентийской Коммуны.

Церковь — это обширный светлый зал с двумя рядами стройных, стрельчатых арок (единственная примета готики) со многими боковыми притворами, украшенными великолепной живописью и скульптурой. За толпами экскурсантов и туристов здесь нельзя было разглядеть молящихся, ни у кого нет в руках молитвенников, но почти у всех (даже у группы монашенок) — пестрые «Путеводители по красоте Флоренции», не слышно молитв, но гулко несется под сводами храма разноязыкая речь экскурсоводов. Хозяева церкви — францисканские монахи стоят за длинным прилавком и бойко торгуют репродукциями, альбомами и разными сувенирами. Толпа наводнила даже околосанктарное помещение, стены которого тоже украшены знаменитыми фресками, и никто не обращал внимания на двух священников, которые, спешно готовясь к богослужению, надевали на себя кружевные пелерины и отбирали какие-то ритуальные предметы. Потом быстрыми шагами, чуть ли не расталкивая экскурсантов, они пошли к алтарю, один из них,



Дворцы Большого канала.

Фото автора.

визора, проплыла и исчезла зубчатая, увенчанная башней масса Палаццо Веккио: как герб, как поэзия этого города. Так лаконично и сдержанно заявила себя Флоренция.

Сидит Палаццо Синьории, строго прочерченный в ночном небе, еще долго стоял перед моим взором. Значит, я во Флоренции, на земле Данте — и память стала листать великие страницы «истории искусств», ведь это здесь, во Флоренции, сооружен величественный купол Брунеллеско, здесь галерея Уффици, здесь Микеланджело создал капеллу Медичи с ее бессмертными фигурами, здесь стоит его Давид, здесь трагическая «Пьета»... И все это за стенами моей маленькой комнаты пансиона Водони...

Проснулся я, конечно, ни свет, ни заря и, прочертив на плане города маршрут своего паломничества «по святым местам», отправился в путь. Узкая улица де Пепи привела к площади Санта Кроче, в центре — знаменитая церковь Санта Кроче. У самого входа — надгробие Данте Алигьери, рядом мраморное изваяние над могилой Макиавелли, чуть дальше — скорбные фигуры над прахом Альфиери, вырубленные рукой Кановы. Еще шаг — высоко поставленный бюст Микеланджело, а внизу, у гробницы, согбенные, плачущие фигуры (работа Вазари).

У надгробья спудились старики крестьяне, на них топорщатся шевитовые костюмы и старательно повязаны толстые галстуки, внимательно читают торжественную надпись, и один из них неуверенно тычет пальцем в плачущую фигуру, а другой поправляет: «No, s'orga, cap la b'arba». (Нет, выше, с бородой). И кресты

постарше, взяв микрофон, дунул, проверяя его исправность, и полилась мерная латинская молитва, которая тут же утонула в общем гуле. На передней скамье сидел иностранец, высоко заложив ногу на ногу и погруженный в изучение путеводителя, он даже не поднял головы; только одна старая женщина склонила колени и забормotala молитву, остальные продолжали любоваться искусством. В этом городе искусство всеисильно, тут оно — Бог.

От церкви Санта Кроче рукой подать до набережной — река Арно, желтоватая от глины, размеренно течет в своем обширном гранитном ложе, направо — «Понто Веккио», знаменитый «Старый мост». Это маленькая улочка, на ней несколько ветхих, приземистых домов с крошечными в три ряда окнами и рыжей черепичной крышей; стены домов облуплены и пожелтели — во всей этой ветхости и простоте есть прелесть достоверного; рождается какое-то глубокое почтительное чувство — ведь эта аркада была переброшена через желтые воды Арно в незапамятные времена, еще при этрусках. А сейчас я вступаю на те же камни, рассматриваю чеканное серебро на прилавках многочисленных лавочек; иду мимо бюста самого великого чеканщика Бенвенуто Челлини и, пройдя так «дорогой веков», выхожу на площадь Синьории. Здесь сердце Флоренции.

(Продолжение следует).

Главный редактор
Д. Г. БОЛЬШОВ.